

*Свидетели
эпохи*



ВАСИЛИЙ
МАКЛАКОВ

■

Воспоминания

Лидер московских кадетов
о русской политике
1880—1917

Василий Маклаков

**Воспоминания. Лидер
московских кадетов о
русской политике. 1880-1917**

«Центрполиграф»

Маклаков В. А.

Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике.
1880-1917 / В. А. Маклаков — «Центрполиграф»,

Василий Алексеевич Маклаков – член ЦК партии кадетов, депутат Государственной думы 2-го, 3-го и 4-го созывов, авторитетный российский политик, один из виднейших русских адвокатов. В этой книге он рассказывает о тех демократических и правовых основах, которые определяли когда-то величие и мощь Российской империи, и тех роковых особенностях нашего менталитета, что послужили причиной ее трагедии. Анализируя историю парламентаризма в России, Маклаков приходит к выводам, актуальным и для сегодняшнего политического процесса.

© Маклаков В. А.

© Центрполиграф

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
Глава 1	7
Глава 2	17
Конец ознакомительного фрагмента.	25

В.А. Маклаков

Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике. 1880–1917

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящие «Воспоминания» требуют некоторого объяснения, если не оправдания. Под таким общим подзаголовком уже вышли три мои книги, доведшие рассказ о событиях в России до роспуска 2-й Государственной думы и переворота 3 июня 1907 года. Отражая тогдашнее настроение, я в этом перевороте видел только его вредные стороны, которых и сейчас не могу отрицать. Дата 3 июня сделалась для нас таким же нарицательным и порицательным именем, каким 2 декабря было для Франции. Но после того, что мы с тех пор пережили, такое суждение было бы односторонне. Если этот переворот насильственно прекратил острый период ожесточенной борьбы исторической власти с представителями передовой общественности (Освободительное Движение, 1-я Дума, 2-я Дума), то он в то же время начал короткий период «конституционной монархии», то есть совместной работы власти с представителями общества в рамках октроированной конституции. Эта перемена позиций немедленно стала приносить свои полезные результаты. Не произошли в 1914 году европейской войны, Россия могла бы продолжать постепенно выздоравливать, без потрясения. И потому переворот 3 июня, при всей своей незаконности и связанными с этим последствиями, может быть, помог нам тогда избежать двух худших исходов: или такой полной победы самодержавия и его крайних сторонников, которая могла привести к отмене «конституционного строя» и к возвращению прежнего самодержавия, что заставило бы начинать борьбу с ним сначала, или – что могло быть еще хуже – к тому, что то полное крушение власти, которое произошло в 1917 году, пришлось бы на десять лет раньше в обстановке несколько не лучшей для мирного оздоровления.

Помню, как в 1917 году война многими считалась для такого оздоровления положительным фактором. Вместо этих двух крайних и противоположных исходов мы получили передышку, которую можно было на благо России использовать. Когда в 1942 году я собирался свои «Воспоминания» продолжать, я на эпохе 3-й и 4-й Государственных дум хотел проследить оба эти процесса, то есть и симптомы выздоровления России, и то, что его задерживало или от него отклоняло. Я не смог этого намерения выполнить, так как мне не удалось тогда в Париже найти всех нужных для этого материалов, и даже стенографических отчетов последних двух Государственных дум; а я не хотел писать только по памяти.

И если я теперь опять написал воспоминания, то характер их поневоле будет другой. Я не продолжаю прежний рассказ, а начинаю его с еще более раннего времени, переменяю и его содержание. Раньше я рассказывал о том, что мне приходилось со стороны наблюдать, благо мое поколение соединило в себе два противоположных свойства: наблюдали мы жизнь, как ее современники и очевидцы событий, а теперь вспоминаем, как о делах давно уже минувших. Громадность происшедших в России с тех пор перемен превратила «недавнее прошлое» в «историю». Это нам помогает беспристрастнее пересматривать прежние наши оценки. В прежних «Воспоминаниях» я, как общее правило, избегал говорить о себе; это было для рассказа не нужно, так как моя личная роль в тогдашних событиях была небольшая. Теперь же моя жизнь становится осью рассказа. Но говорить я буду уже не столько о том, что я делал в свои ранние годы, сколько о том, как тогдашняя жизнь воспитывала и формировала жившее тогда поколение, в том числе и меня. Конечно, одни и те же условия жизни могли по-разному на нас влиять. Но это будут только различные результаты одного и того же процесса, то есть воспитания

людей впечатлениями окружающей жизни. Этот процесс, поскольку он на мне отражался, и будет главным содержанием этой книги. Все мы при полной противоположности между собою были одинаково наследниками нашего прошлого, как и Октябрь 1917 года неожиданно оказался детищем самодержавия. Этой темы я, конечно, не только не могу исчерпать, но ее так и не ставлю. Это только та точка зрения, с которой я вспоминаю о прошлом и которая определяет выбор материала, о котором я буду говорить в этой книге.

Глава 1

То поколение, которое сейчас вымирает, а начинало жить активной жизнью во время Освободительного Движения, своими юными годами близко подходило к эпохе Великих Реформ. И если нам вспоминать свою жизнь и то, что она сделала с нами, надо начинать с этого времени, то есть с наших отцов и дедов. Мы многое от них унаследовали.

Дед моей матери был важный (штатский) генерал Павел Степанов; его я никогда не видал и только смутно помню висевший у нас на стене его фамильный портрет. Его жена была рожденная Татаринова; по семейным преданиям, она была в каком-то родстве с известной Татариновой эпохи Александра I. У П. Степанова были три дочери: Александра, Марья и Раиса. Александра, моя родная бабушка, вышла замуж за чиновника дипломатического ведомства в Бухаре Василия Васильевича Чередеева. Мать была их единственной дочерью. Эту свою родную бабушку, Александру Павловну, я помню гораздо меньше, чем ее сестер: она умерла раньше их. В моей памяти осталось только болезненное желтое лицо, которое у нее было незадолго до смерти, и ее похороны. Ее сестер, Раису и Марью, помню гораздо лучше. Раиса вышла замуж за офицера, Егора Александровича Михайлова, который служил в Хиве при Кауфмане; в мое время он был отставным полковником с совершенно лысой головой, членом Английского клуба, где проводил каждый вечер за картами; у него и Раисы было очень много детей, чуть ли не восемнадцать человек, и, хотя все были от одних и тех же родителей, часть их по отчеству звалась Дмитриевичами, а часть Егоровичами. Нам что-то по этому поводу объясняли, но очень невразумительное. Все их дети где-то служили. Мать их, Раиса, была столь же богата, как и ее сестры, но ее состояние не удержалось, и дети должны были сами зарабатывать на жизнь.

Третья сестра, Марья, осталась незамужней; была пережитком старой эпохи. Жила в собственном доме в Москве, около Каретного Ряда. При доме была очень большая незастроенная площадь земли: двор, сад и огород. В умелых руках имущество это могло бы представить большую ценность. Но владелица из него дохода не только не получала, но и не старалась извлечь. Этого мало. Большой кусок своей земли она подарила соседней церкви, со словесным условием его не застраивать. Условие было нарушено; церковь сначала построила там большой доходный дом, с окнами прямо в окна дома дарительницы, потом закрыла проезд через подаренную землю, и дарительнице пришлось к себе проезжать обходным путем через другой переулок, что владение обесценивало. Для самой М.П. Степановой это было не важно. Она никуда не выезжала; жила в бельэтаже, верхний этаж сдавала знакомым, а нижний этаж, подвал, был складом фамильного добра, ненужных вещей, которые некуда было девать. При ее доме были сараи и конюшни; по привычке она держала кучера и лошадей, которые ей вовсе не были нужны. Я был ее крестником и до самой смерти ее должен был по субботам ходить к ней обедать. Она вставала с постели в 5 часов пополудни и только тогда делала выход в столовую. Была окружена какими-то старушками, которые по ночам составляли ей компанию (она ложилась под утро), играли с ней в карты или читали ей религиозные книги. Два раза в год, в день ее рождения и на именины, у нее были приемы. Собиралась родня, племянники и внучата, за которыми она посылала свой экипаж; бывало несколько старых знакомых (из них помню профессора Ф.И. Буслаева). Садись за длинный стол, пили шампанское за здоровье ее; за столом служили наемные официанты; вообще все было как у людей. Только в эти дни своеобразный склад жизни ее нарушался.

Дворянско-помещичья среда, из которой я вышел, конечно, не была однородной, хотя вся принадлежала к «благородному сословию», по выражению статьи IX тома свода законов, или к «правлящему классу», позднейшей терминологии. У нее были и связанные с происхождением привилегии, по службе и по образованию. Главной привилегией было право иметь «населенные земли», то есть право на крестьян и на даровой их труд в пользу помещика. Это право

часто было источником и личного богатства этого класса, и опасного для него положения среди населения. Но прадед П. Степанов и мой дед В. Чередеев были не только помещиками, но служилыми людьми и получали за эту службу содержание. Имения были для них не источником богатства, а его признаком и последствием. Сами имения были не латифундиями по размерам и доходности, а небольшими кусками земли в разных уездах Московской губернии, которые раньше носили характерное название «подмосковных». Там были усадьбы, велось и хозяйство, что при даровом крестьянском труде было легко.

Потому отмена в 1861 году дарового труда для таких помещиков не была катастрофой, как для тех, кто своим имением жил и кому пришлось строить хозяйство на совсем других основаниях: сдавать латифундии в аренду крестьянам же или отдавать имения в более умелые для хозяйничанья руки. Для помещиков, которые жили не имением, а службой или интеллигентным трудом, вопрос так не ставился. Многие из них и после 1861 года имения свои сохранили, продолжали там жить, хотя бы часть года; предпочитали не уничтожать хозяйства, держать лошадей, скот, домашнюю птицу, не для барышей, а для домашнего употребления. Вести такое хозяйство было несложно. Надо было иметь небольшое число постоянных работников, которых можно было вербовать из бывших дворовых. Их было недостаточно на время страды, но для этого не нужно было выдумывать нового. Раньше эта нужда удовлетворялась крестьянской «барщиной», теперь ее нужно было оплачивать. В экстренных случаях она принимала освященную практикой форму «помочи». Все это происходило к взаимной выгоде и даже к удовольствию. Потому, когда из крепостных отношений исчезло то, что было в них ненавистно, то есть власть помещика над людьми, как над собственностью, и обязательный даровой труд на других, то там, где помещик не стремился крестьян эксплуатировать и давать чувствовать им свою прежнюю от него зависимость, крестьяне не обижались на то, что помещик для них оставался все-таки «барином», не претендовали на полное равенство с ним, не сердились за привычное «ты». Этого мало. Между помещиком и крестьянами часто сохранялись тогда и пережитки прежних их отношений, как людей, которые могут быть друг другу полезны и даже нужны. Крестьяне были необходимы помещику, но и сами они искали и находили у помещика в минуту нужды и кредит, и защиту против обидчиков, и медицинскую помощь, лекарства и пр. Отношения крестьян и подобных помещиков часто оставались мирными и дружелюбными; это исчезало с общим осложнением жизни, переходило в антагонизм и вражду. В детском возрасте мне этого видеть не приходилось. На это мы насмотрелись позднее.

Мать была не только из зажиточной среды, но и культурной. В этой среде это было не редкость. Единственная дочь богатых родителей, она получила только домашнее воспитание. До конца жизни сохранила предубеждение против школы, боялась в ней дурных знакомств и влияний; в этом она уступила отцу только для сыновей, но оставила завет не отдавать никуда дочерей. Дома ее учили всему, что полагалось знать воспитанной барышне этого круга; она свободно говорила на трех языках (помимо русского), была ученицей знаменитого пианиста Фильда. В ее книжном шкафу были все русские и много иностранных классиков, которых и нам постепенно давали читать. Но на этом уровне она и остановилась.

Иначе быть не могло. Она умерла тридцати трех лет, имея восемь человек детей, из которых семеро остались живы. С ранней молодости она вся ушла в заботу о них, о хозяйстве, о поддержании отношений и положения в обществе. Ей некогда было продолжать учиться. Сама жизнь должна была ее развивать; но среда, в которой она выросла, родня, которой она была окружена, и положение ее, как матери большого семейства, оберегали ее от тех общественных увлечений, которые были свойственны 60-м годам; они ее не затронули. Она осталась тем, чем была в самые юные годы. Поскольку я могу по детским воспоминаниям судить о матери, она воспиталась на одной главной основе – религиозной. Глубокая и своеобразная религиозность проникала все ее мирозерцание, не оставляя места ни сомнениям, ни рассуждениям. Однажды, уже после смерти ее, моя крестная мать, М.П. Степанова, расспрашивала

меня, аккуратно ли я хожу в церковь, соблюдаю ли посты и все предписания церкви. При этих расспросах она привела мне суждение какого-то их старшего родственника, чтобы «укрепить меня в вере». Он будто бы говорил: «Если Бога нет и все, чему религия учит, – ошибка, для верующих людей от этого вреда не будет; но зато, если это правда, как за это им будет хорошо! Поэтому лучше уже верить». Такое утилитарное соображение было бы цинизмом, если бы оно не было так детски наивно. Ничего подобного не могло быть у матери. Вера в промысел Божий, который всем в наших земных делах управляет, была для нее не заповеданной и для верующих выгодной верой, а простой очевидностью. Однажды я спросил у нее: «Почему в наше время нет больше святых?» Она удивилась вопросу: «Почему ты так думаешь? Святых и сейчас очень много. Посмотри на нашу Наталью Семеновну». Это была сморщенная старушка, которая издавна жила в нашем доме на положении среднем между членом семьи и прислугой. Я не верил. «Почему она святая? Что она для этого сделала?» Мать пояснила, что ничего особенного для этого делать не нужно. Поступки, угодные Богу, для людей часто только по незаметности их незаметны.

Она приводила и другой более яркий пример – нашего духовника отца Александра Семеновича Ильинского. Он был настоятелем церкви Успения, что в Казачьей, в Замоскворечье; позднее был сделан протопресвитером Успенского собора. Мать издавна была дружна с его женой. Однажды во время Светлой Заутрени А.С. Ильинский увидел, что в той части церкви, где обыкновенно стояла его жена с их сыном, доктором, происходит волнение и кого-то уносят. Своей жены и сына он после этого в церкви не видел. В тревоге за них отслужил он заутреню. Началась обедня.

Сын вернулся в церковь, но без матери. А.С. Ильинский понимал, что если бы его жене только сделалось дурно, сын бы ее одну не оставил. Но обедню он все же, не торопясь, дослужил до конца. Вернувшись домой, нашел свою жену мертвой. И мать говорила: «Александр Семенович, забыв о себе, служил, подчиняясь воле Бога, который дал ему силу исполнить долг свой, священника; значит, он Богу угоден». Это было так странно; в наших глазах он казался очень обыкновенным человеком. Не раз приезжал к нам в деревню, любил ловить рыбу. Помню, как он радовался, когда однажды поймал на червя громадного окуня. И вдруг он святой человек! Но у матери в этом сомнения не было. Она во всем обыденном видела проявление руки Бога.

Другой раз я ее спрашивал: «Почему не бывает больше чудес?» Она опять недоумевала: «С чего это ты взял? Чудеса происходят на каждом шагу, только люди их не замечают и объясняют по-своему». Сама она верила им, как реальности. Нас, детей, часто возила к Спасителю, на Остоженке, где в домовых церкви была икона, считавшаяся чудотворной. По преданию, слепой мальчик на стене нарисовал углем образ Спасителя и никто не смог этого угля стереть. Бывая в этой церкви, я всегда напрасно искал следов того первоначального угля. Но мать была уверена, что здесь было настоящее чудо. Другой более близкий пример. Когда, уже приговоренный врачами, умирал от мозговой болезни наш младший брат, с ним делались судороги, и он тяжело метался. Мать сидела около него с крестом, в который были вделаны мощи, и во время припадков, чтобы их облегчить, осеняла его этим крестом. Она твердо верила, что этот жест ему помогает. А наутро, когда брат, окруженный цветами, уже лежал в своем гробике, она смотрела на него умиленно, но и с убеждением говорила сквозь слезы: «Сейчас он ангелочком летает около Бога. Ведь у него грехов еще не было».

Я допрашивал дальше: «Почему же мы, верующие люди, не можем, по словам Писания, двигать горами?» Она объясняла: «Потому что у нас вера слаба и мы хотим сделать чудо, только чтобы этим в себе укрепить эту веру». Это уже «маловерие» и «искушение» Бога; это грех. Так у нее на все был ответ из той же веры, которая была для нее «очевидностью». Она старалась и нам именно ее передать; такая вера была понятнее нашей детской душе, чем хитроумные «определения» Бога из Филаретова катехизиса, который нас заставляли зубрить в 3-м классе гимназии. Чтобы эту веру в нас поддерживать, она не только водила нас в церковь и заставляла

читать молитвы, она старалась переносить нас в насыщенную живой верой атмосферу. Так, одной из книг, которые мы с ней читали вместе, были «Катакомбы» Евгении Тур, рассказы из эпохи Диоклетиановых гонений на христиан. Жена нашего уездного предводителя А.Н. Бахметева занималась литературой и издавала книги под общим заглавием «Душеполезное чтение». Одну из таких книг, «Жития святых», мать с нами постоянно читала. В них открывался тот особенный мир, которого мы не умели разглядеть, мир, где страдали и умирали за веру. Мы не умели этого видеть, мать же о том, что и теперь происходило кругом, иначе судить не могла.

В конце 70-х годов печаталась «Анна Каренина». Мы, детьми, знали имя Толстого; мне на именины подарили «Детство. Отрочество», и мы им увлекались. И потому, когда стали говорить о новом романе Толстого, я просил дать мне его почитать. Мне объяснили, что он не для детей; а наша домашняя учительница Надежда Ивановна, старая дева с очень строгими нравами, не только с осуждением, но с ужасом говорила про какую-то взрослую барышню, что она прочла «Анну Каренину». Сестра же, которая была на два года старше меня и любила разыгрывать взрослую, когда хотела кого-нибудь осудить, говорила: «Он читает „Анну Каренину“». Это только больше подстрекнуло мое любопытство. Однажды в деревне, в комнате дедушки по отцу, Николая Васильевича, я увидел на столе эту книгу и немедленно, тайком, начал ее читать. Мне помешали, и я прочел только беседу Облонского с Левиным во время охоты. Но после я услышал продолжение разговора дедушки с матерью об этой же книге. Дедушка говорил, что не согласен с ее оценкой романа. Мать, по его словам, находила, что его надо было кончить на болезни Анны после родов, заставив ее тогда «умереть». Дедушка же утверждал, что только после этого роман получил свой интерес. Мать возражала. Если Анна согрешила, то судить и карать ее мог только Бог, а не люди, людям же нужно следовать слову Христа о тех, кто может бросать в других камнями. А каковы были те люди, которые Анну травили? Я запомнил этот случайно подслушанный мной разговор более всего потому, что, несмотря на старания, не мог его соединить с теми страницами, которые успел прочитать из «Анны Карениной».

Позднее я узнавал мать в этом споре. Она порицала грех, как нарушение Божьей заповеди, но «грешников» не осуждала. В этом была не только религиозная заповедь, но и свойство характера. Я не знал в жизни более доброго человека, чем мать: она никогда не сердилась, всех всегда защищала.

Таково то воспитание, которое она старалась нам передать. Она пустила в душе какие-то ростки, которые жизнь рассеяла уже потом.

В Вербную субботу 1881 года мать, по обыкновению, повезла нас, детей, смотреть вербное гулянье на Красной площади. Она казалась совершенно здоровой. По возвращении мы стали просить, чтобы по случаю Страстной отменить уроки музыки. Она шутливо сказала: «Хорошо, я, может быть, вас и помилую». Это были последние слова, что мы от нее услышали.

На другое утро она не вышла из спальни. Приходили доктора, осматривали, что-то прописывали, но ей лучше не становилось. В понедельник с утра она была уже без сознания. Ее перенесли из спальни в самую большую комнату нашей квартиры. Несли уже, как труп, вместе с кроватью. Вечером приехал Г.А. Захарьин, которого ждали, как чудо-творца, и он определенного ничего не сказал. Ночью детей разбудили, повели с нею прощаться. Она была без памяти, вся в крови от пиявок. Отец брал ее руку и нас ею крестил. Надежды на выздоровление не оставалось. Мы со старшей сестрой решили попробовать последнее средство. Поехали молиться той чудотворной иконе Спасителя на Остоженке, куда мать нас часто возила. Я опять стал искать следов чудесного угля и их опять не нашел под массой образов и украшений. Мы вернулись домой. Матери не сделалось лучше. А потом скоро отец вышел к нам сообщить: «Дети, мамаша скончалась».

Я стал себя спрашивать: почему молитвы перед чудотворной иконой не помогли? Заключение, что у меня не было достаточно веры; если бы она была, я не стал бы еще раз искать следов настоящего угля. Но так как вера двигает горами, то при вере я смогу и мертвую воскресить.

Я пробрался ночью в комнату, где стоял ее гроб; монашенка около него читала молитвы. Не помню, вернее, не знаю, что я пытался там сделать; знаю только, что меня унесли без чувств. И я тогда решил про себя: публично, на торжественном отпевании я ее воскрешу. Если я решусь это сделать в такой обстановке, то это докажет, что я имею достаточно веры. Наступил день отпевания. Это была Страстная неделя. Гроб стоял вблизи Плащаницы. Масса народа. На отпевание приехал архиерей Амвросий, знаменитый духовный оратор, впоследствии он был архиепископом в Харькове и, говорят, стал отъявленным черносотенцем. Он был знаком с отцом еще до своего монашества и бывал в нашей семье. Я выжидал подходящий момент, чтобы свое намерение – воскресить мать – привести в исполнение. Среди моих колебаний неожиданно начал говорить епископ Амвросий. Я и теперь помню содержание его слова. Он напомнил, что, по преданию, какой-то подвижник, который делал все, чтобы быть Богу угодным, захотел узнать, что ему нужно еще для этого делать? Ему чудесным путем было указано, чтобы он поехал в такой-то город по такому-то адресу; там живет женщина, которая более всех Богу угодна. Он исполнил, что ему было сказано. К своему удивлению, нашел там не подвижницу, не отшельницу, а самую простую богобоязненную женщину, мать семейства, которая не понимала и не могла объяснить, чем она заслужила перед Богом. И вот она, эта смиренная женщина, говорил епископ Амвросий, оказалась наиболее Богу угодна. Такова была канва его речи.

Она западала мне в душу; в конце он обратился к нам: «Подойдите ко мне, дети почившей». Что-то он специально нам говорил, к чему-то призывал всех бывших в церкви, но я помню одно, как из его глаз по щекам катились слезы. Мне стало стыдно или страшно производить опыт своей способности творить чудеса у этого гроба. Я этой попытки не сделал; но потом долго себя упрекал за свое доказанное и тотчас наказанное маловерие. Эти похороны были последним впечатлением, которое у меня связано с матерью. Мне было тогда одиннадцать с половиною лет.

* * *

Если мать была тепличным растением культурной помещичьей среды, то отец представлял другую ее разновидность, но вышел он из нее же. Мой брат, когда был на государственной службе, нашел бумаги, по которым можно было восстановить нашу родословную и даже быть переписанным в какую-то другую дворянскую книгу.

У нас не сохранилось отношений с отцовской родней. Из нее мы знали только родного деда Николая Васильевича, живописного старика с длинными белоснежными волосами, какими тогда изображали вернувшихся из ссылки декабристов. Человек очень способный, но легко увлекавшийся, он постоянно менял род занятий и потому не преуспел ни в одном. Начал врачом. Набрасывался в медицине на всякие новшества, даже на те, которые тогда принимали за шарлатанство, как, например, гипнотизм. Но медициной он занимался недолго. Помню его рассказы об его увлечении петушиными боями, для которых он выводил особую породу петухов; о попытках построить «perpetuum mobile»,¹ об изобретении им «повозки для тяжестей», которая выдержала будто бы публичные испытания и только по чьим-то интригам не была удостоена премии; кое-что я о нем узнавал не только по его собственным рассказам. После смерти отца в шкапулке, где хранились письма деда к нему, я нашел письмо, где дед отцу сообщал, что изобрел в Монте-Карло «беспроеигрышную систему игры», вошел в компанию с неким графом Грабовским, чтобы «взорвать» вместе банк, и убеждал отца собрать как можно больше денег и ехать к нему: «вернешься богатым». Уже своими глазами я видел другое, более невинное его увлечение. Дед жил тогда с нами в имении матери Ярцеве Дмитровского уезда Московской губернии. Его почему-то захватила идея завести в нем на широких началах молочное

¹ Вечный двигатель (лат.).

хозяйство с сыроварением, которое должно было давать большие доходы. У отца не было ни охоты, ни умения извлекать барыши из хозяйства; но потому ли, что не хотел лишиться своего отца удовольствия, или потому, что еще не предвидел, во что это его удовольствие обойдется, но он согласился попробовать. Я ребенком наблюдал этот опыт. Вероятно, так после 1861 года помещики проживали свои выкупные свидетельства. Был построен длинный скотный двор со специальной вентиляцией и с особенным помещением для каждой коровы; приобретен редкий породистый скот. Мы ходили смотреть, как мыли громадных голых свиней, которые отчаянно хрюкали, когда мыло им попадало в глаза. Были заведены машины, локомобиль, молотилка, веялка, которые постоянно ломались. Конечно, хозяйство никаких барышей не давало. За это дед обвинял какого-то Озмидова, который вместе с ним это дело затеял; позднее я слышал это имя, как известного сельскохозяйственного деятеля. К счастью, в 1878 году тетка матери, М.П. Степанова, уговорила нас переехать в ее имение Дергайково Звенигородского уезда. Оно было замечательно живописно. Мы там поселились и оставались уже до революции. С переездом туда прекратилось хозяйство в Ярцеве. Дед перешел тогда к другим занятиям, пристрастился к литературе, написал драму «Богдан Хмельницкий», которая была поставлена в Малом театре на Императорской сцене. Из деревни он приезжал на ее постановку, ходил на репетиции, и сам помню, как он восхищался игравшей в его пьесе молодой, тогда никому еще не известной артисткой – Ермоловой. Еще позднее, уже на старости лет, он выучился английскому языку и стал переводить Шекспира. Помню его споры о достоинствах перевода с Н.Х. Кетчером, которому было посвящено шутивное стихотворение П.В. Шумахера:

Вот еще светило мира,
Кетчер, друг шипучих вин,
Перепер он нам Шекспира
На язык родных осин.

Когда деду стало скучно в деревне, он стал все чаще ездить к близким соседям, графам Олсуфьевым, которые безвыездно жили в своем подмосковном имении Оболянове. Олсуфьевы были исключительно культурной, талантливой и литературной семьей; у них часто бывали Толстые, не исключая и самого Льва Николаевича; к этой семье Олсуфьевых принадлежал молодой их сын, известный позднее как политический деятель, Д.А. Олсуфьев, член Государственного совета по выборам от Саратовской губернии. Под конец дед жил там подолгу, там и скончался.

Таков был дед, поскольку я его помню. Была у него вторая жена, с которой он не то развелся, не то разошелся. К нам она заходила не редко. Если в то время случайно бывал у нас дед, она из другой комнаты на него смотрела украдкой. Если, приезжая, он узнавал, что она у нас, он не входил. Кроме отца, у деда было трое детей: сын С.Н. и две дочери. Одна была замужем за железнодорожным чиновником; другая, незамужняя, служила актрисой на выходных ролях в Малом театре. Дядя, Сергей Николаевич, был человек очень способный, великолепный стрелок и сильный шахматист. Никакой школы он не окончил, не имел ни определенных занятий, ни службы и жил в другом имении матери, как будто управляя хозяйством. Из всей этой семьи только отец получил высшее образование и сам создал себе положение.

Он учился в 1-й Московской гимназии. Когда через тридцать лет я стал гимназистом, у меня был тот же надзиратель, глубокий старик Л.И. Ауновский, который в этой же должности служил при отце. Времена с тех пор изменились. Отец часто рассказывал про свои школьные годы. Тогда было грубое время: учеников могли сечь и без церемонии угощали подзатыльниками. Правда, зато зря не губили их жизни. Тогда родители могли за них заступиться, с ними считались. В классической же Толстовской гимназии моего времени было иначе. С учениками была внешняя вежливость: ни к одному мальчику не обращались на «ты». Но было беспощад-

ное равнодушие к их судьбе со стороны государственной власти, которая без причин ученика могла навсегда погубить. После гимназии отец поступил на медицинский факультет. Хотел себя посвятить хирургии. Этому помешала случайность. На охоте на уток, в лодке, он за дуло потянул ружье на себя, зацепил за что-то курком, и заряд угодил ему в левую руку, разорвал сухожилие, и несколько пальцев левой руки перестали сгибаться. Для большой хирургии это было помехой. От этой специальности он должен был отказаться и перешел на офтальмологию, где для миниатюрных операций неисправность левой руки могла не мешать. Было и другое последствие того же неудачного выстрела: отец был очень музыкален и в молодости хорошо играл на скрипке; это стало невозможно без левой руки. Он скрипку заменил «фисгармонией», где беглость пальцев была не нужна. Но офтальмологии он остался верен до смерти и умер профессором по этой кафедре.

Не могу судить о положении, которое отец занимал в медицине и в обществе. В одном сам могу быть свидетелем. Свое положение он получил ни по протекции, ни по наследству готовым: сам его создал, был «self made man».

Для этого надо было много работать. Он и был образчиком труженика. Всю жизнь работал без отдыха. Имел хорошую практику, у матери было состояние. Мог жить не утомляясь, но времени на отдых у него никогда не хватало. Он любил деревенскую жизнь, но, хотя наша семья подолгу оставалась в деревне, он мог приезжать к нам только на два дня в неделю и уезжал утром, чуть свет. В 1895 году перед смертью от эндокардита, который тогда не умели лечить, врачи предписали, если организм пересилит болезнь, безусловный и продолжительный отдых. В антрактах между пароксизмами он мечтал о таком отдыхе в нашей деревне, признавая, что всегда стремился к нему, и вспоминал, что за всю жизнь ни разу его не получил. Болезнь, которая кончилась смертью, оказалась его единственным отдыхом.

Главным делом, которое отнимало у него время, была медицина. Но он занимался ею не только с практической целью – лечить; она была для него одной из возможностей изучать жизнь и законы, которые ею управляют. Влекло его «естествознание» во всех его отраслях; он был активным членом многочисленных ученых обществ, старался следить за всем, что другие в естествознании делали. А когда была возможность заниматься им самому, даже в сферах от медицины далеких, он это и делал. Как пример припоминаю его увлечение пчелами.

Отец раз побывал на Измайловской пасеке в Москве, заинтересовался жизнью пчел и завел их у себя в деревне. При постановке ульев один из них уронили, пчелы роем набросились на отца и искусили его. Помню его шею, как будто небритую щеку от торчащих в ней пчелиных жал, которые вынимали горстями. У отца так поднялась температура, что опасались за его жизнь. Он выздоровел, но зато получил на всю жизнь иммунитет против пчелиного яда. Он устроил в деревне настоящую пасеку и проводил на ней каждое утро. Поставил и в Москве на квартире стеклянный наблюдательный улей, с летком на двор нашей больницы. Открыв дверку ящика, в котором улей был заключен, можно было наблюдать все, что в нем делалось. Следить в деревне за пасекой без помощника, когда отец четыре дня в неделю отсутствовал, было невозможно. Он хотел заинтересовать этим кого-нибудь из нас, детей, но мы пчел боялись.

Случай помог отцу. К нам летом был приглашен репетитором, чтобы меня готовить к гимназии, студент, только что получивший медаль за сочинение по органической химии, И.А. Каблуков. Он заинтересовался пчелами, стал отцу помогать и с тех пор каждое лето проводил у нас, на положении близкого и верного друга семьи.

В 1926 году, когда он после Революции приехал в Париж, не побоялся нас навестить. Был убежден, что большевики очень скоро будут вынуждены уступить место старым общественным деятелям. Это была эпоха нэпа. Так думали тогда многие из тех, кто оставался в Советской России.

Каблуков был честным и хорошим человеком, не талантливым, но усердным тружеником, преисполненным уважения к науке и горделивого сознания того, что он – ее деятель. Язык

плохо его слушался. Он не договаривал фраз, не согласовывал подлежащего со сказуемым и пересыпал речь словечками – «этта» (вместо акимовского «таё»). Этот недостаток, в связи с напыщенностью, с которой он говорил о высоких предметах, делал его часто комичным.

Мы, дети, издевались над ним и изводили его. И не одни только дети. Однажды наши крестьяне пришли его поздравить с «приездом». Этот обычай они всегда применяли не только к членам нашей семьи, но и к ее близким друзьям. Каблуков вышел, принял поздравление и стал разговаривать с крестьянином Степаном, по фамилии Родичев. Этот Степан был остроумный балагур и горький пьяница. Л.Н. Толстой говорил в Ясной Поляне, что пьянство он ненавидит принципиально, но что мужики-пьяницы бывают иногда очаровательны. Степан был из таких. Каблуков спросил его: «А ты, Степан, говорят, все пьянствуешь?» – «Что ж из этого, Иван Алексеевич, вреда от этого нет. Мне семьдесят лет, а посмотри на меня, каков я есть». Каблуков важно ответил: «Ну а если бы ты не пил, то тебе теперь было бы не семьдесят, а девяносто лет». Было ясно, что он хотел этим сказать, но то, что он сказал, вызвало общий хохот и удовольствие. Анекдоты про Каблукова попали даже в литературу (воспоминания Белого). Позднее он стал профессором химии, при большевиках сделан был академиком, и я в «Известиях» видел фотографию, как Калинин вручал ему какой-то орден. После 1926 года я его больше не видел.

Так наша семья вышла из двух разных классов: помещичьего со стороны матери и интеллигенции со стороны отца. В начале между ними не было «антагонизма»: у них был общий корень. У отца едва ли могла быть та детская «вера», которой была полна моя мать, но я помню, что он в церковь ходил, говел, хотя и всегда отдельно от нас, от детей. Однажды, уже после смерти матери, я как-то рассказал, что товарищ мой по гимназии меня принялся «просвещать» по части религии и поучал, что мир не создан в семь дней, а начался с появления раскаленного шара. Отец с каким-то опасением слушал и поинтересовался, что я на это ответил. Когда я сказал, что спросил, откуда этот шар появился, он пришел в восторг: «Вот и правильно. Ну, и вышел дурак, и не сможет на это ответить». По горячности и торжеству, с которыми это он говорил, было ясно, что отвечал он сомнениям, которые в нем самом были, но которым он не хотел давать хода. Почему? Раз во время Светлой Заутрени он повел нас с братьями на Красную площадь, залитую народом. И когда ударил колокол Ивана Великого, на него отозвались все московские церкви, начался ночной перезвон, а толпа, обнажив головы, стала креститься, отец с каким-то торжеством обратился к нам:

– Что бы ни говорили умники, откуда же это чувство у всех? Значит, за этим есть что-то.

Этого унаследованного им, вместе с другими, «общего» чувства терять он не хотел.

Это могло быть не только с религией. Раз, уже студентом, я говорил с ним об умершем Каткове, политический вред которого отец тогда уже хорошо понимал. Я знал, что Катков был пациент отца, с ним на этой почве видался. Благодаря более близкому знакомству с ним как с человеком, он мог не разделять распространенного против него огульного предубеждения. Но он старался все-таки оправдывать его и как политика; напоминал, что Катков всегда стоял за интересы России. Позднее, уже после смерти отца, в письмах деда, о которых я говорил, я нашел неожиданный вопрос деда, обращенный к отцу: продолжает ли он «восхищаться» Катковым? Я яснее понял тогда, откуда вышло это старание его защищать. Герцен рассказывал о возмущении, которое в большинстве тогдашнего общества вызвало польское восстание 1863 года и претензии на Западный край. Патриотический подъем общества в ответ на нападение Польши, очевидно, переживал вместе с другими 25-летний отец. Этого чувства он терять не хотел и за это многое Каткову прощал.

Это подводит к вопросу о политических взглядах среды, в которой с детства я рос. Это была среда интеллигенции, а не помещичья. Землевладельцы-помещики, которых было много среди материнской родни, были более старшего поколения; я мало их видел, и перед детьми

они политических взглядов своих не высказывали. Я их просто не знал, и какого бы то ни было влияния на меня они оказать не могли. Кругом, в котором я рос, были знакомые и друзья отца, вообще интеллигенты. Между ними самими, конечно, могли быть различия, и очень глубокие, но для детских глаз незаметные. Главное же в них было то, что они все в свои молодые годы жили в ту переломную для России эпоху, когда было невозможно оставаться нейтральным. Нельзя думать, что в таких случаях бывают только два лагеря. Кто не с нами, тот против нас. Единогласие возможно, когда довольствуются отрицанием: отменить, не допустить. Когда хотят строить новый порядок (и в этом заслуга и величие Великих Реформ), там разномыслия неизбежны: они вытекают из сути вещей. Одним кажется, что реформы идут слишком быстро, недостаточно считаются с прошлым. Другим – наоборот. С кем тогда был отец – я точно не знаю. Сам он этого нам не рассказывал, а семейная хроника «бабушек» этим не занималась. Я от них часто слышал другие рассказы, например, о том, как отец сделал предложение матери. Он в доме ее родителей часто бывал, сначала как доктор, позднее как друг, но о своих личных планах молчал. И когда в разговоре с бабушкой он по какому-то поводу сделал на это очень отдаленный намек, который можно было понять даже вовсе не так, бабушка на него сразу накинулась: «Наконец-то, мой батюшка, давно пора!» Об этом они часто вспоминали со смехом. Можно было над этим только смеяться: брак вышел очень счастливым. Была ли в этих колебаниях отца простая застенчивость, или его останавливало неравенство «положений» – мать была единственной дочерью богатых и важных родителей, а он, молодой врач, не имевший своего состояния, – или за этим скрывалось различие культурных и политических симпатий двух семей, я не знал и уже не узнаю.

Поскольку я помню отца и его друзей, их политическое понимание для меня не оставляло сомнения. Все они были за Освобождение 1861 года, за Великие Реформы, многие были сами общественными деятелями, часто гласными Думы. Отец был с теми, кто хотел и эти реформы довести до конца, быть может до «увенчания здания». Думаю так потому, что помню, как он сочувственно говорил о назначении Лорис-Меликова, хотя политического смысла такого сочувствия я, по малолетству, тогда не мог понимать.

Но это одна сторона; все они вышли все-таки из круга «довольных», а не «обиженных судьбой», не тех, про которых в 1858 году Н.А. Некрасов писал:

Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусства, науки,
Предаваться мечтам и страстям.

К этому чужому миру они относились без признаков высокомерия, не считали его «быдлом», обреченным оставаться внизу; себя не считали «белой костью», у которой есть привилегии по рождению; но они в себе ценили культуру и образованность и в этом видели свое заслуженное преимущество; не хотели это преимущество хранить для себя одних, считали долгом государства передавать его всем остальным, но не признавали и своей вины перед народом, не считали, что необразованные люди призваны Россию за собой вести или что культурным слоям у народа чему-то надо учиться. Долг высших классов был его учить и ему помогать, а не уступать ему места. И если это тогда им старались внушать, то они такое учение не считали не только опасным, но даже серьезным. Позднейших идеологий тогда не предвидели.

Но в самых этих прежде обиженных классах слагалось другое настроение. О нем я позднее узнавал из литературы, и даже из наблюдений, но в детстве мне с ним не приходилось встречаться. Настроение порождало дела, которые ни от кого нельзя было скрыть. Началось революционное движение 70-х годов, завершившееся царевубийством 1 марта.

Это время я отчетливо помню. И помню, что среда, в которой я рос, относилась к революционным покушениям вполне отрицательно. Она в это время была «опорой порядка», считала, что покушения мешают проведению нужных и возможных реформ. Ни цели их, ни психологии людей, которые собой тогда за это жертвовали, она не понимала. Культ революции, вера в то, что всего можно достигнуть насильем, убеждение, что успех революции есть высший моральный закон, нельзя было совместить с теми идеями, которые одушевляли эпоху Великих Реформ.

Это вышло наружу в 1881 году. Либералы оказались правее, чем, может быть, думали сами. «Победа» революционеров 1 марта стала концом их успехов. Широкое общество от них отшатнулось. У настоящей «реакции» оказались развязаны руки, и она нашла исполнителей. К ней переходили даже из «либерального» лагеря. Власть стала бороться тогда не только с революционным движением, в чем был бы долг всякой государственной власти, но с теми идеями, которые лежали в основе 60-х годов.

В это трудное время задачей той либеральной общественности, которая не изменила себе, стало спасти то, что еще можно было спасти и от торжествующей реакции самодержавия, и от малозаметного, но зарождавшегося уже тогда революционного «тоталитаризма». «Либералы» сами собой оказались опять на левых позициях и в печати, и на тех постах общественной деятельности, которые реакцией еще не были уничтожены. Так шла эта «холодная» война, пока не началось Освободительное Движение, которое в 1905 году привело к «увенчанию здания».

Мой отец не дожил до этого времени. Он умер в 1895 году, когда началось царствование несчастного Николая II. Принять участие в борьбе с самодержавием, уже не только в качестве зрителя, пало на долю моего поколения в его еще молодые, но уже не детские годы. Но к этой борьбе оно уже было подготовлено старшими.

Глава 2

Желание матери как можно дольше детей учить и воспитывать дома, по-видимому, встречало со стороны отца возражения. У него были другие взгляды. Он опасался для нас чересчур дамского, тепличного воспитания; хотел, чтобы мы возможно раньше узнавали настоящую жизнь и ее темные стороны. Он любил нас поддразнивать, друг с другом стравливать; смеялся над внешними проявлениями ласки, называя их «телячьими нежностями». Помню, как мать ему не раз говорила при нас, что он о таком воспитании потом сам пожалеет.

Вероятно, потому, что мать все же не теряла надежды как можно долее продолжать обучение дома, меня там учили тому, что для поступления в гимназию не требовалось. Наша учительница, Надежда Ивановна, учила нас всем предметам: писать без ошибок, арифметике, географии, истории. Для истории у нас был какой-то альбом с историческими картинками, начиная с крещения Руси и кончая чтением Манифеста 1861 года. При этих картинках был объяснительный текст; благодаря им все запоминалось легко. Была у нас и специальная детская библиотека: в ней, между прочим, были два томика о Потемкине и Суворове. Не помню их автора, но вспомнил о них потому, что когда их у нас увидел однажды В.К. Истомин, будущий всесильный правитель канцелярии при великом князе Сергее Александровиче, он сказал, что всюду их разыскивал для своих детей, но нигде не смог достать. Одна из пациенток отца, графиня Толстая, вдова известного друга Гоголя, подарившая свой большой дом на Садовой под приют для престарелых священников, каждую Пасху и Рождество присылала в подарок нам, детям, книги. Помню среди них всего Купера и Вальтера Скотта, в детских изданиях. Позднее она предоставляла нам самим выбор книг по вкусу и их нам дарила. Так появился у нас весь Жюль Верн и много других книг.

Нас учили и музыке. Жила у нас постоянно гувернантка, и мы с ней научились свободно болтать по-французски. Позднее появилась и англичанка. Со смертью матери такое домашнее учение кончилось. Учили нас и немецкому, но немецких учителей мы не любили и плохо учились. Не могу не припомнить по этому поводу, как курьез, что однажды, но недолго, нашим немецким учителем побывал и гостивший у нас П.В. Шумахер. В нашем кругу он был исключительным человеком, и вообще в современном обществе недостаточно оцененным. Если бы я заговорил подробнее о нем, я никогда бы не кончил. После него осталась все же книжка «стихов» и большое количество анекдотов.

Когда я поступил в гимназию, он подарил мне редкое издание (XVI века) «Илиады» с латинским переводом и с такой надписью:

«С детства до старости лет на мишуру все глядели
Слабые очи мои, лучших не видел красот.
Милостив к юноше Зевс, даровав ему высшее зренье
И указав ему путь в область нетленной красоты.
Васе Маклакову на память от старого хрена».

Эта книга долго хранилась в нашей деревенской библиотеке; после Революции была национализирована и пожертвована в «народную библиотеку», неизвестно на какое употребление.

Вопреки желанию матери, я еще при жизни ее был отдан в Московскую классическую 5-ю гимназию. Директором ее был В.П. Басов, сам убежденный латинист, переводчик с немецкого латинской грамматики Мазинга. Был сыном профессора хирургии, который знал лично отца. Я почему-то поступил в гимназию в середине учебного года, поэтому должен был для поступления сдавать особый экзамен. Отец, который присутствовал на этом экзамене в каби-

нете директора, рассказывал матери о пристрастном ко мне отношении учителей на экзамене, объясняя его недовольством за сделанное для меня исключение. Лично я этого не ощутил.

Я был тогда рад, что был отдан в гимназию и не рос до университета в условиях домашнего воспитания. Конечно, оно при хороших учителях может дать гораздо больше, чем общая школа. В то время это и не было трудно. Но у школы есть одно преимущество: школьные сверстники, постоянное общение с ними. Домашнее воспитание замыкает ребенка в определенном кругу; соответственно ему подбирают и учителей. Для ребенка надолго закрыты другие впечатления жизни. Домашний круг его может быть очень высок, состоять из настоящей элиты. Но детям, когда они вырастут, придется жить вне этого круга, с другими людьми. В высшей школе и жизни они все равно с ними встретятся. Воспитание дома или – что почти то же самое – привилегированная школа эту встречу только отсрочат и сделают общение с другими более трудным. Близость со сверстниками естественная поправка к такому порядку вещей, и она тем нужнее, чем более узок и замкнут тот круг, в котором ребенок растет. Это вполне относилось к нашей семье в те старые годы. Я помню такой эпизод.

На семейном празднике у нашей тетки М.П. Степановой один из сыновей ее сестры, Раисы Михайловой, в ожидании выхода хозяйки в столовую, стал занимать меня, восьмилетнего мальчика, разговором и сообщил о горе, постигшем Россию, а именно о смерти поэта Н.А. Некрасова. Я знал это имя, читал «Мазая и зайцев»; но Михайлов мне объяснял, что это лучший русский поэт; прочитал «Ивана», как его били в зубы, как он пытался повеситься и потом куда-то пропал. Михайлов декламировал с чувством:

Как живешь ты на свободе,
Где ты, эй, Иван?

и убежденно закончил: Некрасов наш лучший поэт. Эти неожиданные для меня слова я передал потом старшим и сверстникам, но в них не встретил сочувствия. Мать объяснила мне, что все это вздор: разве ты видал, что кого-нибудь били в зубы? Если Иван пытался повеситься, то только потому, что был пьяница. И Иван никуда не пропал; Иваны служат извозчиками, дворниками, прислугой. И вообще нечего рассуждать о том, чего не понимаешь. Словом, вариант из того же Некрасова: «Вырастешь, Саша, узнаешь» и т. д.

Я был тогда удовлетворен таким объяснением: оно согласовалось с моим строем понятий, хотя и Михайлов был того же, нашего круга. Для моего тогдашнего возраста такое отношение матери может быть объяснимо, но в нем все же остается опасность; создание для детей искусственной односторонности, «железного занавеса», которое может часто объясняться не возрастом, а вытекать из предвзятого взгляда на то, что нужно «скрывать» и «замалчивать». Школа поневоле пробивала первую брешь в этом занавесе.

Однажды в гимназии наш классный наставник зачем-то стал всех спрашивать, какого мы звания. Большинство не понимало этого термина и отвечало, что их отцы – помещики, чиновники, доктора, учителя и т. д. Нам объяснили, что это не звание. При более точном разборе мы все оказались дворянами. Только один заявил, что отец его повар. И ему сказали, что это не звание; он оказался, по званию, цеховым мещанином. И любопытно, что известие, что отец нашего товарища повар, нам всем очень понравилось: этот товарищ вырос в наших глазах, как редкая птица. Невольно сопоставляю такую реакцию сверстников с знаменитым циркуляром Делянова о том, что детям «кухарок» не место в гимназии. Этим допотопным взглядам, которые старались тогда воскрешать, противостояло естественное общее настроение сверстников, которое не зависело от циркуляров и «начальственных» требований. В этом уже было преимущество школы. Конечно, не нужно преувеличивать разницы взглядов, которую можно связать с различием происхождения. Такой разницы в то время я не замечал. Политикой мы тогда вовсе не интересовались. Думаю, что это было более всего оттого, что в нашем возрасте

мы отражали только настроение старших; старшие же переживали период упадка, крушения прежних надежд, когда новых еще не появилось. Та разница оттенков, которые были в нашем кругу, для нас не была заметна, а до ее корней мы и не добирались. В одном классе со мной были сыновья гласного городской думы, из того либерального «меньшинства» интеллигентов, которые вели в Думе борьбу с городским головой Алексеевым, отстаивая начала «самоуправления» против его «самовластия». Это была замаскированная борьба «либерализма» с «реакцией». Об эпизодах этой борьбы, которую вели наши отцы, мы, дети, между собой говорили, и даже следили за ней с большим интересом, не отдавая себе отчета в том, ради чего она ведется и в чем ее смысл. Помню, как однажды о каком-то эпизоде ее, во время большой перемены, я говорил с А.И. Мамонтовым, сыном И.Н. Мамонтова, соперника Алексеева на пост городского головы. Надзиратель, услышав наш разговор, ничего запрещенного в нем не нашел, но все же сказал добродушно: «Чем говорить о пустяках, вы бы лучше повторяли греческие глаголы». Вообще политики в гимназии еще не было и быть не могло: за этим следили. Я помню только одного одноклассника, которого позже я встречал в политических кругах и организациях, Положенцева. Он жил у нашего инспектора Пехачека, был очень замкнут и всегда держался от нас особняком; мы объясняли это тем, что он жил у инспектора; позднее я понял, что для этого у него были другие, более веские основания.

Общение с товарищами меня до известной степени мирило с гимназией, и я был рад, что ее проходил. Этому я рад и теперь. Но сама классическая гимназия, ее худшего времени, эпохи реакции 80-х годов, оставила во мне такую недобрую память, что я боюсь быть к ней даже несправедливым. И эта недобрая память только росла, потому вероятно, что в том уродовании «духа», которое сейчас происходит в Советской России, как и во многих других новшествах «народной демократии», ясно выступают черты того худшего, что было в старой России. Они сейчас опять воскресают, только с невиданным прежде цинизмом.

Я не хочу делать упрека нашим учителям и даже начальству. Среди них были разные типы, были и хорошие люди. Я говорю о «системе», которую в России ввели и которой их всех заставляли служить.

Эта система имела главной задачей изучение древних, то есть мертвых, языков. Знание языков всегда очень полезно, а в молодые годы и дается очень легко. Для этого вовсе не нужно много грамматики. Можно говорить и понимать на чужом языке, грамматики совершенно не зная. Такого знания древних языков классическая гимназия, несмотря на то что в жертву этому приносила другие предметы, нам не давала. Ни по-латыни, ни по-гречески разговаривать мы не могли. А ведь наши отцы и деды это, по крайней мере по-латыни, умели. В европейских университетах лекции иногда читались по-латыни. Профессор Браун, офтальмолог, где-то в Германии слушал по-латыни лекции, говорил и понимал. Я запомнил рассказ его о том, как их учили латинскому. Учитель дал для перевода фразу: *terra est rotunda*.² Пособием был только словарь. *Terra*³ маленький Браун легко отыскал и записал. Но «*est*» при всем желании не нашлось. Отыскал в словаре и третье слово, но с иным окончанием – *rotundus*.⁴ Ученикам было велено самим догадаться, почему это так. И только потом учитель им помог в том, чего они сами сообразить не могли. А когда к изменениям слов они уже привыкли на практике, им сообщали и грамматические правила этого. Такой прием оказался для усвоения языка гораздо действеннее. Так, вероятно, было не только с Брауном, но и со всеми. В 1904 году я был в Риме вместе с Плевако. Он собирался идти разговаривать с папой Пием X. Это была комическая встреча, о которой здесь не место рассказывать. Накануне беседы он мне передавал,

² Земля кругла (лат.).

³ Земля (лат.).

⁴ Круглый (лат.).

что именно хочет папе сказать, и это говорил по-латыни. А я, премированный латинист, этого сделать не мог бы. Классическая гимназия этому нас не научила.

Причина в том, что эти языки мертвы, что на них больше не говорят, что нельзя импровизировать новых грамматических правил, которые в живых языках всегда идут в сторону упрощения. Самых грамматик древних языков не сохранилось. Нужно было самим их выводить из уцелевшей древней литературы. Потому знание древних языков и сводилось прежде всего к усвоению грамматических правил и исключений. Отыскание и формулировка этих правил для языков, на которых уже не говорят, от которых остались лишь письмена, было одним из замечательных достижений ума человека. Конечно, эта задача была еще труднее для разгадки иероглифов; через нее проникали в тайну образования языка. Это интереснейшая отрасль знания. Можно было желать, чтобы для тех, кто ею интересуется, существовали специальные школы. Но классические гимназии ставили задачу не так. Их аттестат был сделан непременным условием допущения в высшую школу – университет, где преподают и другие науки. Когда высшее образование перестало быть монополией привилегированных классов и должно было быть доступно для всех, средняя школа должна была всех готовить к его восприятию и брать мерилom подготовленности к этому не древние языки, а обладание нужными в жизни знаниями и уровень общего развития. Для этого было нужно не знание грамматик языков, на которых больше не говорят: почему тогда не требовать и знания иероглифов? Такое специальное знание общего развития не обеспечивало; так можно только готовить специалистов. Сторонники классического образования имели за себя другие доводы. Владение древними языками открывало доступ к всеобъемлющей классической цивилизации; в ней можно было найти зародыши всякого знания – религии, философии, права, государственных форм, исторических смен и т. д. В классической литературе отражалось все, что думал об этом в эпоху расцвета классический мир. Чехов говорит устами Линтварева в рассказе «В пути», что нет ничего увлекательнее начала всякой науки. Это правда, именно начала, когда впервые открываются новые горизонты, за которыми не видно конца. Было бы завидной и благодарной задачей классической школы – учеников с этими «началами» всякой науки знакомить. Для этого нужно только понимать язык, а вовсе не знать его грамматических тонкостей.

Но как раз этого знания классической литературы гимназия нам не давала, а главное – и давать не хотела. Читали с нами классических авторов те же учителя «грамматик», а не знатоки тех предметов, о которых эти авторы говорили. Из этих авторов они только извлекали материал для грамматик, примеры *consecutio temporum*⁵ или условных периодов, а не сокровищ классической мысли, о которых речь шла в этих книгах. Для этого было бы бесконечно полезнее классическую литературу читать в переводах: разделение труда одно из необходимых условий прогресса. Одни могли выводить правила грамматики из сохранившихся текстов, а другие изучать содержание книги, не теряя драгоценного времени на отыскивание правил грамматики. В тех пределах, в которых грамматика нужна для понимания текста, она дается так же легко, как и в живых языках или как давалась нашим отцам.

Но если изучение классических языков и не давало в гимназии такого развития, то оно направляло обучение по ложной дороге. Во-первых, на древние языки уходило так много времени, что на другие предметы его уже не было. А во-вторых, многих знаний гимназия и не хотела давать. Конечно, некоторые предметы были так необходимы, что учиться им не мешали. Таковы математика, физика. Дурного влияния от них не боялись и потому их не уродовали. Зато предметы, относящиеся к гуманитарным знаниям, как литература, история, старались для учеников «обезвредить». Как классическую литературу заменяли тонкостями грамматики, так, например, историю заменяли собственными именами и «хронологией». В смысл и связь событий старались не углубляться. Если от учителя в меру его любви к своему предмету и

⁵ Последовательность времен (лат.).

ловкости и зависело провозить иногда запрещенный груз, то это была все-таки контрабанда, которая провозилась в маленьких дозах. Образцом разрешенной истории был Иловайский. Это сделалось нарицательным именем. Когда на его учебники нападали в печати, он самодовольно заявил, что на такие упреки отвечает двумя словами: «Напишите лучше». Он знал, что для цели, которую ставило министерство, то есть убить и интерес к истории, более подходящего учебника, чем его, нельзя было выдумать. Дело было не в нем, а в системе, которой он, Иловайский, соглашался служить.

Разнообразные последствия этой системы не замедлили обнаружиться. Между прочим, одно из них любопытно. На филологический факультет шло наименьшее число учеников, и притом далеко не лучших; и это несмотря на то, что в гимназии именно к этому факультету особенно усердно готовили. Но «грамматические тонкости» и «понимание истории» по Иловайскому убивали интерес и к истории, и к литературе. Из гуманитарных факультетов наиболее привлекал юридический, совсем не потому, чтобы он был самым легким и помогал практической карьере; в раннюю молодость об этом не думают. Но те знания, которые все-таки там сообщали, законоведение, изучение форм общественной жизни, оставались вовсе вне преподавания гимназии и потому не успели от себя оттолкнуть.

Зачем это делалось? Противники классицизма говорили, что самой целью гимназического воспитания было не развивать, а душить у учеников интересы, что уже тогда шла борьба власти со «свободой духа», в которой видели недопустимое «вольномыслие», и что для этого было введено забивание молодых мозгов тем, что им неинтересно и совершенно не нужно. Такое суждение казалось полемическим преувеличением. Но когда мы увидели, как со «свободой» борются в Советской России, как «политическая партия» ученым в сфере науки дает директивы, как она преследует «уклоны» от них и как одновременно с этим забивают всем головы историей «коммунистической партии», такому объяснению дела можно поверить. Конечно, тогда, в старое время, «дрессировка» умов не была так жестока, как теперь, и не велась с таким напряжением всего государства, но система была та же самая. Приведу один только пример, который почему-то ярко остался в моей памяти. У меня был одноклассник, Сергей Басистов, сын покойного педагога, известного автора хрестоматий для чтения. Он был исключительно одаренным юношей, увлекался литературой, много читал, о чем мы даже не слышали, а главное – сам легко и свободно писал. Его гимназические сочинения были всегда Образцовы; учителя часто их читали нам в назидание. Я некоторые из них до сих пор не забыл. Но он не любил древних языков и не имел способности к математике, что часто бывает с литературными дарованиями. По этим предметам он за весь год получал плохие отметки. Но перед экзаменами он на них налег и благодаря хорошим способностям благополучно их сдал. Но когда объявляли результаты экзаменов, директор ему объявил, что ввиду плохих годовых отметок он оставляется на второй год в том же классе. Я помню его искаженное этим ударом лицо и отчаянный голос: «За что? Я ведь старался». Директор ответил, что отличная сдача экзаменов только показала, что он мог хорошо учиться, но сам не хотел. В гимназию идут, чтобы усваивать знания, которые в ней преподают, а не заниматься посторонними предметами, а потом «блистать на экзаменах». На второй год остаться он не захотел, ушел совсем из гимназии и, как потом говорили, сбился с пути и погиб. Так гимназия поощряла таланты и оригинальные дарования.

Нечто подобное произошло и с его старшим братом Алексеем Басистовым. Он серьезно увлекался философией, вероятно элементарной; судить об этом мы не могли. Свои соображения он излагал всегда письменно и читал только избранным. И на все это гимназия смотрела враждебно, как на непослушание. В одно лето он исчез и потом не вернулся. Я, правда, не знаю точно роли гимназии в этом его исчезновении. Но к требованиям гимназии от учеников он не подходил, и, так или иначе, она его от себя оттолкнула.

Против такого отношения гимназии, общение с товарищами-сверстниками и было противоядием в двух отношениях. Оно, во-первых, пробуждало интересы к тому, чего не давала гимназия. Они приходили к нам обходным путем.

Так, например, в одном классе со мной был сын зоолога Линдемана, профессора Петровской земледельческой академии. Это он объяснял мне происхождение мира из раскаленного шара. Этого рассказа было мало, чтобы разрушить во мне ту веру, которую мне с детства внушали. Но потом он стал говорить о вещах более простых и доступных, которые он узнавал от своего отца. Тогда профессор Линдеман возился с вредным «жучком», которого крестьяне прозвали «кузькой». Шумахер посвятил ему эту шуточную эпиграмму:

Поверьте, крестьянин наш русский
Без вас может все понимать.
Знаком он не только что с «кузькой»,
Он знает и «кузькину» мать.

Линдеман-сын, как и отец, увлекался зоологией, образованием видов, эволюцией всего живого, гипотезой «естественного отбора» и «происхождения человека». На помощь его доказательствам шла и только что развивавшаяся палеонтология. Это мне казалось столь увлекательным, что я стал доставать и прочитывать популярные книжки на эту тему. Эти вопросы и сведения я получил хотя и из гимназии, но не от ее учителей, а скорее вопреки им.

Другой одноклассник, по фамилии Иванов, а по прозвищу Крыса, сделался источником наших сведений по химии; он нас научил добывать кислород и показывал его влияние на горение. Химии в гимназической программе не значилось. Но эти рассказы в память запали; я завел дома электрическую машину, бунзеновскую горелку и т. д. И создателем этого интереса был опять-таки товарищ, а не учитель и не программа. Гимназическое начальство относилось к этому отрицательно, так как это мешало занятиям.

Но общение со сверстниками не только расширяло наши интересы; оно помогало их защищать против той системы, которую проводило начальство. Оно приучало с детства к реальным условиям жизни, к существованию в ней двух воюющих лагерей. Конечно, такое отношение школы к учителям не было ни нормально, ни нужно; они могли и должны были быть совершенно другие. Но в создании и поддержке этой «холодной войны» виновато было начальство. Оно не могло, а может быть, не умело и не хотело сделать свой предмет для детей интересным. Они предпочитали внедрять его приказами и наказаниями, как это мы видели на несчастном Басистове. И когда это было не единичное исключение, а система, которая практиковалась у всех на глазах, то и школьники сопротивлялись ей соединенными силами. У них образовалась «военная этика», которая приучала «своих» защищать, не выдавать, врагам не помогать, идти всегда общим фронтом. Эти фронты были безвредны, силы были слишком неравны. Но если самим школьникам моральную поддержку оказывали, то противоположный лагерь они возмущали. И хотя в этом пассивном сопротивлении и никакой «политики» не было, начальство и в ней ухитрялось ее увидеть и обрушиваться на «виновных» всей тяжестью безжалостной государственной власти. Это тоже было предзнаменованием того, что мы увидели в России теперь.

В Москве был талантливый журналист и педагог В.Е. Ермилов. Он университета не кончил, за беспорядки 1887 года был исключен и жил частными уроками и газетной работой. Его особенностью был незаурядный талант, который его сделал очень популярным в Москве, а именно талант рассказчика а 1а Горбунов. Он не был так глубок, как Горбунов, но зато сосредоточился на одной главной теме. Ею был цикл рассказов из быта гимназий, преимущественно первой, где он сам учился и где директором был знаменитый своей строгостью и нелепостью И.Д. Лебедев. Среди его рассказов я помню такой. Директор встречает ученика

с незастегнутой или оторванной пуговицей. Начинается разнос. Воображение и возмущение директора идет все crescendo. «Сегодня у тебя оторвана пуговица, завтра ты придешь без штанов. Послезавтра нагрубишь надзирателю». И эта филиппика разрешается озлобленным криком: «Цареубийца, к столбу!» И несчастный цареубийца, в слезах и с оторванной пуговицей, стоит у столба. Конечно, это шарж, но он не только характерен, но и очень правдив. Такова именно была психология гимназического начальства в эту эпоху реакции, разыскания и искоренения политической неблагонадежности. Сейчас то же усердие носит благовидное название «бдительности».

Эту бдительность и ее последствия я испытал на себе.

В гимназии моими успехами в науках могли быть довольны: я не был ленив, имел хорошую память, сами древние языки меня не отталкивали. Читать по-гречески я научился сам, без учителя, из одного любопытства. В моем аттестате зрелости было сказано даже, что я «с особенной любовью занимался изучением труднейших отделов грамматик древних языков». Это оптический обман. В помощь моим одноклассникам, я по их просьбе часто занимал учителей разговорами о грамматических тонкостях, которые черпал из других учебников. На это уходило время, и товарищи были избавлены от расспросов и дурных отметок. Любви у меня к этому не было, но, конечно, чтобы это исполнять, было необходимо больше, чем обыкновенное знакомство с грамматикой. Моя выпускная работа по латинскому языку была признана в округе лучшей. Начиная с 4-го класса у меня не было отметок ниже «пяти». Словом, я учился отлично и, несмотря на это, едва попал в университет. Трудно поверить этому, если не рассказать все, что было, как это, может быть, ни скучно читать и ни совестно мне вспоминать, настолько все это мелко.

Вначале директор меня очень ценил. С 3-го класса он сам нас учил по-латыни, переводил с нами Цезаря. На переходном экзамене в 4-й класс, давая мне перевод, он сказал мне при ассистенте, нашем учителе греческого языка, чехе П.И. Пехачеке:

– Мне вашего перевода не нужно, я знаю, как вы переводите; хочу только показать это Петру Ивановичу.

Когда я кончил перевод и на все вопросы ответил, он пожелал мне летом хорошо отдохнуть и поправиться.

– Смотрите, какой вы худой и бледный. Сравните себя хотя бы с Насакиным.

Великовозрастный второкурсник Насакин стоял рядом со мной, дожидаясь очереди. А затем, обращаясь опять к Пехачеку, заключил про меня:

– Это отличный ученик.

В этой любезности была характерная неправда, почему я ее и запомнил. Я вовсе не был ни бледен, ни худ; с детства любил делать гимнастику, бороться и испытывать силу; у меня на всю жизнь остался шрам на правой щеке от таких упражнений. В гимназии каждое утро принимал лично участие в драке за табуретки, которую мы между собою вели до прихода на молитву директора; был в той группе учеников, которая хвасталась физической силой, что называлось нами в честь классицизма «геркулесничать». Но по нравам гимназии хорошему ученику полагалось быть болезненным и изможденным. Это были такие же атрибуты «первых учеников», как скромное поведение. Чтобы меня похвалить, директор эти качества мне приписал. И именно несоответствие моих успехов в предметах учения с каноническим образом первых учеников и легло в основу моих гимназических невзгод и даже преследований.

Однажды, по какой-то причине, нам давали латинский урок не в нашем классе, где у каждого было свое место. Я поэтому случайно очутился в том углу, который, по семинарским традициям, называли «Камчаткой». Там развлекались не так, как было принято на первых скамьях, где я обыкновенно сидел. Мой новый сосед для забавы начал мычать с закрытым ртом. Нам нравилось, что учитель мечет в нашу сторону свирепые взоры, но никого не может поймать. Это мне показалось забавным, и я в этом участие принял. По неопытности к таким

упражнениям, вместо мычания и неясного гула, я взвизгнул так громко, что учитель это разобрал и строго спросил: «Кто это сделал?» Мне кругом говорили: «Молчи». Учитель подошел к нашей скамье и снова спросил: «Кто это сделал?» Опять все молчали. Нас оставили после уроков и принялись снова опрашивать, грозя наказать весь класс, если виновный себя не назовет. Это превысило мою осведомленность в гимназической этике, и я сказал: «Это я». Учитель поглядел с удивлением, как будто не веря; потом класс был отпущен, а меня позвали к директору. Я повторил мое признание, но не умел объяснить, почему я это сделал. Я сам этого не понимал. Мне это казалось тогда совершенно невинной шалостью. Ввиду того что это случилось со мной в первый раз и так неожиданно, на это посмотрели легко. Директор сделал мне выговор, признав, что, если бы это ему про меня сказал не наш классный наставник, он бы не поверил, что я был на это способен. Все на этот раз ограничилось выговором. Но через некоторое время я опять провинился. Когда наш класс выходил после уроков, я с входной лестницы прыгнул, перескочив через несколько ступенек. На беду, директор проходил мимо и это увидел. Он велел мне вернуться назад. Я до такой степени не чувствовал за собой ни тени вины, что спросил: «За что?» – «А вот за то, чтобы в другой раз не сигали». Тогда я самого этого слова не знал, а вины в этом не понимаю и сейчас. Очевидно, это тоже не подходило к типу первых учеников. На этот раз я за свой скачок понес наказание, которое было внесено в кондуитный журнал. Но и это не было серьезным проступком, пока не разыгралась история, которая мою судьбу в гимназии определила.

У нас время от времени происходила церемония, носящая название «докторского осмотра». Нас оставляли после уроков, являлся доктор, шупал пульс и выслушивал, определял слух расстоянием, на которое мы слышали тиканье его карманных часов, а зрение расстоянием, на котором могли читать книгу. Мы бы безропотно на эту церемонию шли, если бы она заменяла урок; но на нее отнимали наше свободное время. К тому же процедура казалась нелепой; все помнили, как однажды слух был определен по часам, которые давно не ходили. Осмотр происходил в чужом помещении; я стал рассматривать записи и рисунки, вырезанные на партах, и от нечего делать вырезал пряжкой от ранца слова: «Нет ничего глупее докторского осмотра». На другой день после уроков нас привели в тот же класс, велели сесть так, как мы сидели вчера, и стали опрашивать, кто сделал эту надпись. Уличить виновника было трудно; ни по почерку (пряжкой ранца), ни по местам, на которых ученики все время менялись. Я опять тотчас признался; вину в порче стола я не мог отрицать. Но вина оказалась не в том. Директор объявил, что мою судьбу решит уже не он, а Педагогический совет; я что-то стал говорить в свое оправдание, но он прочел мне нотацию совсем иным тоном, чем вообще со мной говорил, и между прочим сказал, что я воображаю, что мне из-за моих успехов дозволено все и что я в гимназии поднял «знамя восстания». Я не понимал, какое восстание? Ермиловский «цареубийца» потом мне это объяснил. Мое преступление стало «событием». Французский учитель Шато, благоволивший ко мне за то, что я свободно болтал по-французски, велел мне прочитать вслух рассказ из «Марго», где говорилось, как кто-то, чтобы сорвать плоды с высокого дерева, стал на седло, а потом вслух сказал себе самому: а что если кто-нибудь моей лошади скажет: *allez!* Услыхав знакомое слово, лошадь рванулась, и он полетел. Мораль рассказа у Марго была такова: «*Il ne faut pas dire tout ce qu'on pense*»,⁶

⁶ Не следует говорить вслух все, что думаешь (фр.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.